





## МЕТЦЕНГЕРШТЕЙН

Pestis eram vivus — moriens tua  
mors ero.

*Martin Luther<sup>1</sup>*

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir être seule»<sup>2</sup>.

Но суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры — весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного пронизательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»<sup>3</sup>.

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов».

---

<sup>1</sup> При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (*лат.*). *Мартин Лютер.*

<sup>2</sup> Проистекает оттого, что мы не умеем быть одни (*фр.*).

<sup>3</sup> Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (*фр.*).

Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были бы враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло — если оно вообще предрекло что бы то ни было — окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеваяния.

Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок недолгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла.

Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль.

В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые

же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг, и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона.

Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел, погруженный в глубокое раздумье, в огромной и мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностаи епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки.

Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышляя новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна.

Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать замороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя

взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни.

Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы расвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал.

Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное — двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюших, — по крайней мере никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, УФБ, — вмешался второй конюший. — Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все как один уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видали.

— Очень странно! — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть

может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж.

Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено.

Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедленно запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. — Умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какою смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот так! — промолвил барон, словно бы не вдруг осwoясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот так, — подтвердил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и,

несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом.

Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?»

«Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не придет», — надменно и коротко отвечал он.

Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, — они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжелой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками.

Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой, демонической натуры этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолел одним прыжком, и оказалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца.

Надо еще заметить, что, хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не беспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через



несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейна треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем.

Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи праздно стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника.

Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение — и в реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновение, и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени.

И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

## МАНУСКРИПТ, НАЙДЕННЫЙ В БУТЫЛКЕ

Qui n'a plus qu'un moment à vivre  
N'a plus rien à dissimuler.

Кому осталось жить одно мгновение,  
Тому уж нечего скрывать.

*(Ф. Кино. Атис)*

О моей родине и о моей семье мне почти нечего сказать. Постоянные злополучия и томительные годы отторгнули меня от одной и сделали чужим для другой. Родовое богатство дало мне возможность получить воспитание незаурядное, а созер-

цательный характер моего ума помог мне систематизировать запас знаний, который скопился у меня очень рано благодаря неустанным занятиям. Больше всего мне доставляли наслаждение произведения германских философов; не в силу неуместного преклонения перед их красноречивым безумием, но в силу той легкости, с которой мое строгое мышление позволяло мне открывать их ошибки. Меня часто упрекали в сухости моего ума; недостаток воображения постоянно вменялся мне в особенную вину; и пирронизм моих суждений всегда обращал на меня большое внимание. Действительно, сильная склонность к физической философии, я боюсь, отметила мой ум весьма распространенной ошибкой нашего века — я разумею манеру подчинять принципам этой науки даже такие обстоятельства, которые наименее дают на это право. Вообще говоря, нет человека, менее меня способного выйти из строгих пределов истины и увлечься блуждающими огнями суеверия. Я счел нужным предпослать эти строки, потому что иначе мой невероятный рассказ стал бы рассматриваться скорее как бред безумной фантазии, нежели как положительный опыт ума, для которого игра воображения всегда была мертвой буквой.

После нескольких лет, проведенных в скитаниях по чужим краям, я отплыл в 18... году от Батавии, из гавани, находящейся на богатом и очень населенном острове Яве, держа путь к архипелагу Зондских островов. Я отправлялся как пассажир — не имея к этому никакой иной побудительной причины, кроме нервного беспокойства, которое преследовало меня, как злой дух.

Наше судно представляло из себя очень солидный корабль, приблизительно в четыреста тонн, скрепленный медными склепками и выстроенный из малабарского тика в Бомбее. Судно было нагружено хлопчатой бумагой и маслом с Лакедивских островов. Кроме того, в грузе были кокосовые охлопья, кокосовые орехи, тростниковый сахар и несколько ящиков с опиумом. Погрузка была сделана неискусно, из-за этого корабль накренялся.

Мы отплыли под дуновением попутного ветра, и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы, причем единственным развлечением, сколько-нибудь нарушавшим монотонность нашего путешествия, были случайные встречи с тем или с другим из небольших грабов, плавающих по архипелагу, к которому мы были прикованы.

Однажды вечером, облокотясь на гакаборт, я следил за странным облаком, одиноко видневшимся на северо-западе.

Оно было замечательно, как по своему цвету, так и потому, что оно было первым облаком, которое мы увидели, с тех пор как отплыли из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до заката солнца, и тут оно мгновенно распространилось к востоку и к западу, опоясав горизонт узкой полосой тумана и приняв вид длинной линии отлогого берега. Внимание мое вскоре после этого было привлечено видом багрового месяца и особенным характером моря. С этим последним совершалась быстрая перемена, и вода представлялась более чем обыкновенно прозрачной. Хотя я совершенно явственно мог видеть дно, тем не менее, опустивши лот, я нашел, что корабль находился на пятнадцати сажнях глубины.

Воздух сделался невыносимо удушливым и был насыщен спиральными испарениями, подобными тем, которые поднимаются от раскаленного железа. С приближением ночи самое легкое дуновение ветра умерло, и более невозмутимого спокойствия невозможно было себе представить. Пламя свечи горело на корме без малейшего колебания, и длинный волос, будучи положен между большим пальцем и указательным, висел так неподвижно, что нельзя было уловить даже самого слабого трепетания. Однако, по словам капитана, ничто не предвещало опасности, и, так как мы плыли лагом к берегу, он отдал приказание убрать паруса и ослабить якорь. Не было поставлено ни одного часового, и весь экипаж, состоявший главным образом из малайцев, нарочно улегся на палубе. Я сошел вниз, и, должен сказать, в душе у меня было полное предчувствие беды. На самом деле, все говорило мне о приближении самума. Я высказал свои опасения капитану, но он не обратил на мои слова никакого внимания и даже не удостоил меня ответом. Как бы то ни было, благодаря беспокойству я не мог уснуть и около полуночи отправился на палубу. Когда я взшел на последнюю ступеньку трапа, находившегося возле капитанской каюты, я был поражен громким и глухим шумом, подобным быстрому рокоту мельничного колеса, и прежде чем я успел подумать, что это значит, я почувствовал, как корабль задрожал до основания. В следующее мгновение бешеный вал, покрытый барашками, опрокинул корабль на бок и, промчавшись спереди и сзади, точно гигантской метлой, мгновенно очистил всю палубу с носа до кормы.

Крайнее бешенство вихря в значительной степени обеспечило целостность корабля. Хотя он весь окунулся в воду, однако через несколько мгновений, после того как мачты опрокинулись на борт, он тяжело поднялся из моря и, содрогаясь под

исполинским давлением бури, в конце концов совершенно выпрямился.

Каким чудом я спасся от гибели, не могу объяснить. Оглушенный ударом водного потока, я тотчас же очнулся и увидел себя стиснутым между старн-постом и рулем. С великим затруднением я высвободил свои ноги и, оглядевшись кругом потерянным взглядом, был, прежде всего, поражен мыслью, что вокруг нас свирепствует бурун, — так чудовищно было это невообразимое кружение исполинских тенистых масс океана, в смятение которых мы были втянуты. Через некоторое время я услышал голос старика шведа, который сел вместе с нами на корабль в ту самую минуту, когда мы оставляли гавань. Я стал кричать ему изо всех сил, и неверными шагами он подошел ко мне сзади. Вскоре нам пришлось убедиться, что только мы двое пережили это неожиданное событие. Исключая нас, весь экипаж, находившийся на палубе, был смыт — капитан и штурманы, несомненно, погибли во время сна, потому что каюты были залиты водой. Без какой-нибудь посторонней помощи мы вряд ли могли сделать что-нибудь для того, чтобы спасти корабль, и всякие усилия были сперва парализованы ежеминутным ожиданием гибели. Наш канат, конечно, лопнул, как тонкая бечевка, при первом же взрыве урагана, в противном случае мы тотчас же были бы поглощены морем. С ужасающей быстротой мы мчались теперь по морю и видели, как вода делает в корабле трещины. Сруб кормы был сильно расщеплен, и почти повсюду мы получили значительные повреждения, но, к крайней нашей радости, насосы не были повреждены и в балласте не произошло значительных передвижений. Главное бешенство бури уже миновало, и со стороны ветра нам не угрожало особенной опасности; но мы с ужасом думали, что порывы вихря могут совсем прекратиться, так как не могли не видеть, что тогда корабль, в своем полуразрушенном состоянии, неминуемо погибнет под напором ужасающих валов. Однако такое справедливое опасение, по-видимому, не должно было скоро оправдаться. Целые пять дней и пять ночей, — в течение которых нашим единственным пропитанием было небольшое количество тростникового сахара, с трудом добытого из бака, — корпус корабля устремлялся с невообразимой поспешностью, под дуновением быстро сменявшихся порывов вихря, который, не будучи равен по силе первому взрыву самума, все же был настолько страшен, что подобного смятения воздуха до тех пор я никогда не видал. Первые четыре дня мы плыли, с небольшим уклоном, к юго-востоку и к югу; должно быть, мы

направлялись к берегу Новой Голландии. На пятый день стало чрезвычайно холодно, хотя ветер передвинулся на один градус к северу. Встало солнце, с болезненно-желтым сиянием, оно едва поднялось над горизонтом, не распространяя настоящего света. На небе не виднелось облаков, но ветер возрастал и дул с каким-то тревожным непостоянным бешенством. Около полудня, насколько мы могли судить о времени, внимание наше было снова привлечено видом солнца. От него не исходило света в собственном смысле этого слова, но оно было исполнено мертвого и пасмурного блеска без отражения, как будто лучи его были поляризованы. Перед тем как оно должно было опуститься за поверхность вздутого моря, его центральные огни внезапно исчезли, как бы мгновенно погашенные какою-то непостижимой силой, и только туманное серебристое кольцо ринулось в бездонный океан.

Мы напрасно дожидались рассвета, который возвестил бы нам о пришествии шестого дня, — этот день для меня не настал, для шведа он не наступил никогда. Мы погрузились с тех пор в непроглядный мрак, так что нам ничего не было видно на расстоянии десяти футов от корабля. Часы проходили, а нас продолжала окутывать непрерывная ночь, не озаренная даже тем фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками. Мы заметили, кроме того, что, хотя буря продолжала неистовствовать, мы не могли больше заметить обычных особенностей буруна, или пены, которая нас до сих пор сопровождала. Кругом был только ужас, и непроницаемая тьма, и наводящая отчаяние пустыня черноты. Суеверный страх мало-помалу овладел умом старика шведа, и моя собственная душа была охвачена безмолвным изумлением. Мы оставили всякие заботы о корабле, как бесполезные, и, уцепившись, насколько возможно крепко, за обломок бизань-мачты, горестно смотрели в безбрежность океана. У нас не было возможности считать время, у нас не было возможности составить какое-нибудь представление о том, где мы находимся. Мы, однако, ясно сознавали, что мы ушли на юг дальше, чем кто-либо из предшествующих мореплавателей, и испытывали крайнее изумление, не встречая обычных препятствий в виде ледяных глыб. Между тем каждое мгновение грозило нам гибелью — каждый исполинский вал стремился поглотить нас. Морское волнение превосходило все представления моей фантазии, и только чудо могло нас спасти от угроз каждого губительного мига. Мой товарищ говорил о легкости нашего груза, напоминал мне о превосходных качествах нашего корабля; но я не мог не чув-

ствовать безнадежности самой надежды и мрачно приготовился к смерти, полагая, что она последует не позже как через час, ибо с каждым пройденным узлом подъятие черных ужасающих волн становилось все страшнее и чудовищнее. Временами мы задыхались на высоте большей, чем высота полета альбатросов, — временами мы чувствовали головокружение от быстроты нашего нисхождения в морскую преисподнюю, где воздух становился недвижимым и ни один звук не возмущал дремоту кракена.

Мы находились на дне одной из таких пропастей, когда быстрый крик моего товарища страшно прозвучал в безмолвии ночи. «Смотрите! смотрите! — вскричал он, выкликаая прямо в мои уши. — Господи боже мой! смотрите! смотрите!» Пока он говорил, я увидел мрачный, пасмурный отблеск красного света, струившегося по стенам обширной бездны, где мы находились, и бросавшего неровное мерцанье на нашу палубу. Устремив глаза вверх, я увидел зрелище, заморозившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на самом краю чудовищного обрыва, качался гигантский корабль, быть может, в четыре тысячи тонн. Хотя он находился на вершине вала, более чем в сто раз превосходившего его собственную высоту, видимые его очертания все же оставляли за собой всякий линейный корабль и всякое судно Восточной Индийской компании. Его громадный корпус угрюмо чернелся, не будучи нисколько смягчен каким-либо из обычных украшений. Шеренга медных пушек выдвигалась из открытых люков и отбрасывала от своих полированных поверхностей огни бесчисленных боевых фонарей, которые качались там и сям на снастях. Но что более всего исполнило нас ужасом и изумлением, это то, что он шел на всех парусах по этому сверхъестественному морю несмотря на этот неукротимый ураган. В первое мгновение виднелись только корабельные скулы, между тем как весь исполин медленно вставал из неясной и чудовищной пучины, находившейся за ним. На один миг — миг напряженного ужаса — он взвился на самую вершину этого головокружительного вала, помедлил, как бы опьяненный собственным взмахом, и дрогнул и заколебался и — устремился вниз.

Не знаю, откуда у меня взялось самообладание в эту минуту. Откинувшись назад, как только мог, я бестрепетно ждал катастрофы. Корабль наш наконец перестал бороться с морем и начал погружаться с носовой стороны в воду. Толчок стремительной водной массы, сбегавшей сверху, поразил его в ту

часть сруба, которая уже находилась под водой, и в неизбежном результате с непобедимой силой швырнул меня на снасти чужого корабля.

Когда я падал, корабль поднимался на штаге и повертывался на другой галс; замешательство, происшедшее благодаря этому, и было, по-видимому, причиной того, что судовая команда не обратила на меня никакого внимания. Без особенных затруднений я прошел, незамеченный, к главному люку, который был полукрыт, и вскоре нашел удобный случай скрыться в трюм. Почему я так сделал, затрудняюсь сказать. Быть может, неопределенное чувство страха, овладевшее мной сперва при виде этих мореплавателей, обусловило мое желание скрыться. Я совсем не был расположен доверяться людям, в которых, при самом беглом взгляде, заметил столько черт новизны, чего-то возбуждающего сомнение и предчувствие. Я счел поэтому за лучшее устроить себе в трюме тайник, удалив с этой целью часть передвижных обшивных досок таким образом, что они давали мне достаточное убежище среди огромных ребер корабля.

Не успел я кончить свою работу, как шаги, раздавшиеся в трюме, принудили меня скрыться. Около моего убежища неверными и слабыми шагами прошел какой-то человек. Лица его я не мог различить, но обстоятельства позволили мне заметить общий его вид. На нем лежала несомненная печать дряхлости и преклонности. Колени его дрожали, и все тело колебалось под бременем долгих лет. Обращаясь к самому себе, он бормотал глухим и прерывающимся голосом какие-то слова на языке, которого я понять не мог, и стал копошиться в углу среди беспорядочной груды каких-то необычайного вида инструментов и обветшавших морских карт. Все его манеры представляли из себя странную смесь, это была ворчливость вторичного детства и исполненная достоинства величавость бога. В конце концов он отправился на палубу, и я его больше не видал.

\* \* \*

Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия, — ощущение, которое не поддается анализу; поучения минувших времен для него недостаточны, и я боюсь, что даже будущее не даст мне к нему никакого ключа. Для ума, подобного моему, последнее соображение является пагубой. Никогда — я знаю, что никогда — мне не удастся узнать ни-

чего относительно самой природы моих представлений. И все же нет ничего удивительного, если эти представления неопределенны, ибо они имеют свое начало в источниках совершенно новых. Новое чувство возникло — новая сущность присоединилась к моей душе.

\* \* \*

Уже много времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого страшного корабля, и лучи моей судьбы, как я думаю, собрались в одну точку. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, самую природу которых я разгадать не в состоянии, они проходят предо мною, не замечая меня. Скрываться от них — крайнее безумие с моей стороны, ибо *они не хотят* видеть. Я только что прошел перед самыми глазами штурмана; не так давно я рискнул пробраться в собственную каюту капитана и достал оттуда материал, с помощью которого я пишу теперь, и записал все предыдущее. Время от времени я буду продолжать свой дневник. Это правда, у меня нет никаких средств передать его миру, но я попытаюсь как-нибудь устроиться. В последнюю минуту я положу манускрипт в бутылку и брошу ее в море.

\* \* \*

Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Являются ли такие вещи действием непостижимой случайности? Я рискнул выйти на палубу и, не обратив на себя ничьего внимания, улегся среди груды выбленок и старых парусов на дне ялика. Размышляя о странностях моей судьбы, я совершенно бессознательно взял находившуюся здесь мазилку для смолы и стал мазать края только что сложенного лиселя, лежавшего около меня на бочонке. Лисель теперь выгнут и красуется на корабле, а случайные мазки сложились в слово ОТКРЫТИЕ.

За последнее время я сделал много наблюдений относительно структуры судна. Хотя оно и хорошо вооружено, оно, как я думаю, не представляет из себя военного корабля. Его снасти, конструкция и общее снаряжение являются живым отрицанием военных предприятий. Что корабль из себя *не представляет*, мне легко понять, но что он из себя *представляет*, — это, я боюсь, невозможно сказать. Не знаю, каким образом, но, внимательно рассматривая его необычайную форму и странный характер его мачт, его гигантский рост и



чрезмерный запас парусин, его нос, отличающийся строгой простотой, и старинную обветшавшую корму, я чувствую, что в моем уме возникают вспышки смутных ощущений, говорящих мне о знакомых вещах, и с этими неясственными тенями прошлого всегда смешиваются необъяснимые воспоминания о древних чужеземных летописях и давно прошедших веках.

\* \* \*

Я внимательно осмотрел ребра корабля. Он выстроен из материала, мне неизвестного. В характере дерева есть какие-то поразительные особенности, делающие его, как мне думается, негодным для целей, к которым он был предназначен. Я разумею его крайнюю *ноздреватость*, причем беру ее независимо от тех червоточин, которые неразрывны с плаваньем по этим морям, и независимо от гнилости, которую нужно отнести на счет его возраста. Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком утонченным, но мне хочется сказать, что это дерево имело бы все отличительные особенности испанского дуба, если бы испанский дуб мог быть растянут какими-нибудь неестественными средствами.

Перечитывая предыдущие строки, я невольно припоминаю остроумное изречение одного голландского мореплавателя, старого бывалого моряка. «Это верно, — имел он обыкновение говорить, когда кто-нибудь высказывал сомнение в правде его слов, — это так же верно, как то, что есть море, где самый корабль увеличивается в росте, как живое тело моряков».

\* \* \*

Около часа тому назад я дерзнул войти в толпу матросов, находившихся на палубе. Они не обратили на меня никакого внимания, и, хотя я стоял среди них, в самой середине, они, казалось, совершенно не сознавали моего присутствия. Подобно тому старику, которого я впервые увидел в трюме, все они носят на себе печать седой старости. Их слабые колена дрожат; их согбенные плечи свидетельствуют о престарелости; их сморщенная кожа шуршит под ветром; их голоса глухи, неверны и прерывисты; в их глазах искрится слезливость годов; и седые их волосы страшно развеваются под бурей. Вкруг них, на палубе, везде разбросаны математические инструменты самой причудливой архаической формы.

\* \* \*

Я упомянул несколько времени тому назад, что лисель был водружен на корабле. С этого времени корабль, как бы насмехаясь над враждебным ветром, продолжает свое страшное шествие к югу, нагромоздив на себя все паруса; он увешан ими с клотов до нижних багров и ежеминутно устремляет свои брамреи в самую чудовищную преисподнюю морских вод, какую только может вообразить себе человеческий ум. Я только что оставил палубу, я не мог там держаться на ногах, хотя судовая команда, по-видимому, не ощущает ни малейших неудобств. Мне представляется чудом из чудес, что вся эта громадная масса нашего корабля не поглощена водою сразу и безвозвратно. Нет сомнения, мы присуждены беспрерывно колебаться на краю вечности, не погружаясь окончательно в ее пучины. С волны на волну, из которых каждая в тысячу раз более чудовищна, чем все гигантские волны, когда-либо виденные мной, мы скользим с быстрой легкостью морской чайки; и исполинские воды вздымают свои головы, подобно демонам глубин, но подобно демонам, которым дозволено только угрожать, и воспрещено разрушать. То обстоятельство, что мы постоянно ускользаем от гибели, я могу приписать лишь одной естественной причине, способной обусловить такое явление. Я должен предположить, что корабль находится в полосе какого-нибудь сильного потока или могучего подводного буксира.

\* \* \*

Я встретился с капитаном лицом к лицу, в его собственной каюте, — но, как я ожидал, он не обратил на меня никакого внимания. Хотя для случайного наблюдателя в его наружности не было ничего, что могло бы свидетельствовать о нем больше или меньше, чем о человеке, однако я не мог не смотреть на него иначе как с чувством непобедимой почтительности и страха, смешанного с изумлением. Он почти одинакового со мной роста; т. е. около пяти футов и восьми дюймов. Он хорошо сложен, не очень коренаст и вообще ничем особенным не отличается. Но в выражении его лица господствует что-то своеобразное; это — неотрицаемая, поразительная, заставляющая дрогнуть очевидность преклонного возраста, такого глубокого, такого исключительного, что в моей душе возникает чувство — ощущение несказанное. На лбу у него мало морщин, но на нем лежит печать, указывающая на мириады лет. Его седые воло-

сы — летописи прошлого, его беловато-серые глаза — сибиллы будущего. Весь пол каюты был завален странными фолиантами, заключенными в железные переплеты, запыленными научными инструментами и архаическими картами давно забытых времен. Он сидел, склонив голову на руки, и беспокойным огнистым взором впивался в бумагу, которую я принял за государственное повеление и на которой, во всяком случае, была подпись монарха. Он бормотал про себя — как это делал первый моряк, которого я видел в трюме, — какие-то глухие ворчливые слова на чужом языке; и, хотя он был со мною рядом, его голос достигал моего слуха как бы на расстоянии мили.

\* \* \*

Корабль вместе со всем, что есть на нем, напоен духом Древности. Матросы проскользают туда и сюда, подобно призракам погибших столетий; в их глазах светится беспокойное нетерпеливое выражение; и когда, проходя, я вижу их лица под диким блеском военных фонарей, я чувствую то, чего не чувствовал никогда, хотя всю жизнь свою я изучал мир древностей и впитал в себя тени поверженных колонн Бальбека, и Тадмора, и Персеполиса, пока, наконец, моя собственная душа не стала руиной.

\* \* \*

Когда я смотрю вокруг себя, мне стыдно за свои прежние предчувствия. Если я трепетал при виде бури, которая донныне сопровождала нас, не должен ли я приходиться теперь в ужас при виде борьбы океана и ветра, по отношению к которой слова «шквал» и «самум» кажутся пошлыми и бесцветными? В непосредственной близости от корабля висит мрак черной ночи и безумствует хаос беспенных вод; но приблизительно на расстоянии одной лиги от нас, с той и с другой стороны, виднеются, неясно и на разном расстоянии, огромные оплоты изо льда, возносящиеся в высь безутешного неба и кажушиеся стенами вселенной.

\* \* \*

Как я предполагал, корабль находится в полосе течения — если только это название может быть применено к могучему морскому приливу, который, с ревом и с грохотом, отражаемым белыми льдами, мчится к югу с поспешностью, подобной безумному порыву водопада.

\* \* \*

Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию — к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной и достижение которой есть смерть. Быть может, это течение влечет нас к Южному полюсу. Я должен признаться, что это предположение, по-видимому такое безумное, имеет в свою пользу все вероятия.

\* \* \*

Судовая команда бродит по палубе беспокойными неверными шагами; но в выражении этих лиц больше беспокойства надежды, нежели равнодушия отчаяния.

Между тем ветер все еще бьется в нашу корму, и так как развевается целая масса парусов, корабль временами приподнимается из моря! О, ужас ужасов! — лед внезапно открывается справа и слева, и мы с головокружительной быстротой начинаем вращаться по гигантским концентрическим кругам, все кругом и кругом по окраинам исполинского ледяного полукруга, стены которого сверху поглощены мраком и пространством. Но у меня нет времени размышлять о моей участи! Круги быстро суживаются — с бешеным порывом мы погружаемся в тиски водоворота, — и среди завываний океана, среди рева и грохота бури корабль содрогается, и — боже мой! — он идет ко дну!

## НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ

Мечтам безумным сердца  
Я властелин отныне,  
С горящим копьем и воздушным конем  
Скитаюсь я в пустыне.

*Песня Тома из Бедлама*

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь

неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени — я в этом не сомневаюсь — будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты)<sup>1</sup> огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый — совсем не по времени года, — без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов, и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто — даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук — не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул — затем снова переступил с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затыжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был... нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения,

---

<sup>1</sup> Из всего дальнейшего описания следует, что По имеет в виду 1 апреля — день обманов.

такого шара еще не выдывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слышал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии — никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся или, точнее сказать, над носом колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по общению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, — ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был, несомненно, воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человека совершенно не соответствовала росту и придавала всей

его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Серые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к terra firma<sup>1</sup>. С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песка, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха.

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точно-

---

<sup>1</sup> Твердой земле (*лат.*).

сти похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соизволят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, — который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка — словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспособляться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа вы-



игрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпёж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке, не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, — все это только пуше разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не

обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умяснить трех кредиторов, столь жестоко занимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проект, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предложениями и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накопил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас *особого металлического вещества, или полуметалла*, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей *самой обыкновенной кислоты*. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или по крайней мере он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является со-

ставной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза *меньше плотности водорода*. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный — горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что, в конце концов, кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, — и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высовывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил к делу.

Было первое апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но пуше всего меня беспокоил шар, который хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами — к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, — лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из

которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку.

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предлогом и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — 19°.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я перусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съезжился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длину, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и, наконец, я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар неся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не

было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью и ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз потряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело — я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменяв положение, заставил корзину сильно наклониться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если